

над творениями наших молодых поэтов, причем заметил, что едва ли хоть один из них опубликовал хорошую прозу.

— А дело обстоит просто, — сказал он, — чтобы писать прозу, надо иметь что сказать. Тот же, кому сказать нечего, может кропать стихи, в них одно слово порождает другое, и в результате получается нечто, вернее — ничто, которое выглядит так, будто оно все-таки нечто.

*Среда, 31 января 1827 г.*

Обедал у Гете.

— За те дни, что мы не виделись, — сказал он, — я многое прочитал, и прежде всего китайский роман, показавшийся мне весьма примечательным, он и сейчас меня занимает.

— Китайский роман? — переспросил я. — Наверно, это нечто очень чуждое нам.

— В меньшей степени, чем можно было предположить, — сказал Гете. — Люди там мыслят, действуют и чувствуют почти так же, как мы, и вскоре тебе начинает казаться, что и ты из их числа, только что у них все происходящее яснее, чище и нравственнее, чем у нас. Все у них разумно, по-бюргерски, без больших страстей и поэтических взлетов, это сходствует с моим «Германом и Доротеей», а также с английскими романами Ричардсона. Но есть и существенное различие: у китайцев внешняя природа живет бок о бок с человеком. Все время слышно, как плещутся в пруду золотые рыбки, птицы непрестанно щебечут в ветвях деревьев, день неизменно весел и солнечен, ночь всегда ясна. В этом романе много говорится о луне, но луна не видоизменяет ландшафт, от ее сияния ночь так же светла, как день. Внутри домов все изящно и мило, как на китайских картинках. К примеру: «Услышав смех прелестных девушек, я пошел взглянуть на них, они сидели на тростниковых стульях». Вот вам очаровательная ситуация, ведь тростниковые стулья вызывают представление о легкости и миниатюрности. А несметное количество легенд, что сопутствуют рассказу, как бы заменяя собою наши пословицы! О девушке, например, говорится: ножки у нее такие легкие и маленькие, что она может раскачиваться на цветке, не обломив его. А о молодом человеке: он вел себя так примерно и храбро, что на тридцатом году удостоился чести говорить с императором. Дальше рассказывается о влюб-

ленных: долго общаясь друг с другом, они выказали такую воздержанность, что однажды, когда им пришлось ночевать в одной комнате, всю ночь провели в разговорах, но так и не прикоснулись друг к другу. Великое множество подобных легенд, повествующих о нравственном и благопристойном. Но именно благодаря этой суровой умеренности Китайская империя существует уже много тысячелетий и будет существовать и впредь.

— Весьма примечательным контрастом с этим китайским романом, — продолжал Гете, — явились для меня песни Беранже, основу которых почти всегда составляет безнравственность и распутство, они были бы мне просто противны, если бы его огромный талант не сделал их выносимыми, более того — очаровательными. Но скажите сами, разве не удивительно, что сюжет китайского писателя насквозь пропитан нравственными понятиями, а сюжеты нынешнего первого поэта Франции являются прямой ему противоположностью?

— Талант, подобный таланту Беранже, — отвечал я, — не нашел бы для себя пищи в высоконравственных сюжетах.

— Вы правы, — согласился со мною Гете, — именно извращенности нашего времени дают Беранже возможность выказать и развить лучшие стороны своей природы.

— К тому же, — сказал я, — этот китайский роман, вероятно, один из наилучших.

— Нет, это не так, — возразил Гете, — у китайцев тысячи таких романов, и они были у них уже в ту пору, когда наши предки еще жили в лесах.

— Я все больше убеждаюсь, — продолжал он, — что поэзия — достояние человечества и что она всюду и во все времена проявляется в тысячах и тысячах людей. Только одному это удастся несколько лучше, чем другому, и он дольше держится на поверхности, вот и все. Посему господину Маттисону не пристало думать, что он-то и есть поэт, не пристало это и мне, — по-моему, каждый обязан помнить, что нет у него причин неведь что воображать о себе, если ему случилось написать хорошее стихотворение. Однако мы, немцы, боясь высунуть нос за пределы того, что нас окружает, неизбежно впадаем в такую педантическую спесь. Поэтому я охотно вглядываюсь в то, что имеется у других наций, и рекомендую каждому делать то же самое. Национальная литература сейчас мало что значит, на очереди эпоха всемирной литературы, и каждый должен содействовать скорейшему ее наступлению. Но и при полном

признании иноземного нам негоже застревать на чем-нибудь выдающемся и почитать его за образец. Негоже думать, что образец — китайская литература, или сербская, или Кальдерон, или «Нибелунги». Испытывая потребность в образцах, мы, поневоле, возвращаемся к древним грекам, ибо в их творениях воссоздан прекрасный человек. Все остальное мы должны рассматривать чисто исторически, усваивая то положительное, что нам удастся обнаружить.

Я был рад, что мне довелось в такой последовательности услышать его мнение о предмете столь важном. Колокольчики проносившихся мимо саней позвали нас к окну. Мы давно ждали возвращения санного поезда, утром промчавшегося к Бельведеру. Гете между тем продолжал говорить о том, что было для меня так поучительно. Сейчас речь зашла об Александре Мандзони, и Гете передал мне рассказ графа Рейнхарда, который недавно встретил его в Париже, где тот в качестве молодого, но уже прославленного писателя был хорошо принят в обществе, и еще, что ныне он снова живет в принадлежащем ему имении неподалеку от Милана вместе с матерью и своей молодой семьей.

— Мандзони недостает только одного, — продолжал Гете, — понимания, какой он хороший поэт и на какие посему права может претендовать. Он не в меру преклоняется перед историей и в силу этого любит вставлять в свои вещи подробности, из коих явствует, как верно он придерживается даже ничтожных исторических мелочей. Но факты фактами, а вот персонажи его так же мало историчны, как мой Фоант и моя Ифигения. Ни один писатель не знал тех исторических лиц, которые выведены в его произведениях; а ежели бы знал, вряд ли остановил бы на них свой выбор. Писателю должно быть заранее известно, какого впечатления он хочет добиться; считаясь с этим, он и должен создавать свои персонажи. Изобрази я своего Эгмонта таким, каким он запечатлен в истории, то есть отцом целой кучи детей, и его легкомысленное поведение стало бы чистейшим абсурдом. Следовательно, мне пришлось создавать другого Эгмонта, дабы он лучше гармонировал и со своими поступками, и с моими намерениями. И вот этот-то человек, говоря словами Клерхен, и есть *мой* Эгмонт.

Да и на что нужны писатели, не просто же для того, чтобы повторять все записанное историками! Писатель должен идти дальше, создавая, по мере возможности, образы более высокие и совершенные. Все действующие лица Софокла

несут в себе частицу высокой души великого поэта, так же персонажи Шекспира — частицу его души. Так оно и должно быть. Что касается Шекспира, то он идет еще дальше и своих римлян делает англичанами, опять-таки с полным правом, иначе его народ его бы не понял.

— Величие греков, — продолжал Гете, — проявилось и здесь, они придавали меньше значения верности исторических фактов, нежели тому, как их разработал поэт. К счастью, теперь мы имеем «Филоктетов», являющих нам великолепный пример, ибо этот сюжет разрабатывали все три великих трагика, Софокл был последним и сделал это лучше всех. Его творение каким-то чудесным образом полностью дошло до нас, тогда как «Филоктеты» Эсхила и Еврипида были обнаружены лишь в отрывках, по которым, впрочем, вполне можно судить, как разрабатывалась тема. Будь у меня побольше досуга, я бы реставрировал эти отрывки, как в свое время Еврипидова «Фаэтона», и это была бы для меня отнюдь не неприятная и не бесполезная работа.

Задача в данном сюжете была очень проста: вывезти Филоктета вместе с его луком с острова Лемнос. Но описать, как это происходит, было уже делом автора, здесь каждый из них мог показать силу своего воображения, а значит, и превосходства над другими. Вывезти его предстоит Одиссею, но должен ли его узнать Филоктет или не должен и каким образом может Одиссей остаться неузнанным? Отправится ли Одиссей на остров один или с провожатыми и кто будут эти провожатые? У Эсхила провожатый неизвестен, у Еврипида это Диомед, у Софокла — сын Ахилла. Далее: в каких обстоятельствах они найдут Филоктета? Обитаем ли остров, и если обитаем, то жалилась ли там хоть одна живая душа над Филоктетом? И еще сотни подобных вопросов, разрешать которые волен был автор, так же как волен был правильным или неправильным выбором показать, что он мудрее других. В этом все дело. Так следовало бы поступать и современным поэтам, а не интересоваться, обработан ли уже такой-то сюжет или нет, не искать на юге и на севере каких-то неслыханных происшествий, частенько достаточно варварских, которые, сколько ты их ни обрабатывай, так происшествиями и остаются. Правда, для того чтобы мастерской обработкой сделать нечто значительное из простого сюжета, потребны ум и большой талант, а их что-то не видно.

Проезжавшие сани снова повлекли нас к окну. Но и это не был ожидаемый санный поезд из Бельведера. Мы

заговорили о том, о сем, обменялись несколькими шутками, потом я спросил Гете о «Новелле».

— Последние дни я оставил ее в покое, — отвечало он, — но одно я еще хочу вставить в экспозицию. Лев должен зарычать, когда княгиня на своем коне проезжает мимо балагана; я тогда смогу высказать несколько соображений по поводу свирепости этого могоучего зверя.

— Это очень удачная мысль, — сказал я, — ведь таким образом создается экспозиция, которая не только сама по себе хороша и уместна, но и придает большую значимость всему последующему. До сих пор лев, пожалуй, выглядел слишком кротким, не проявляя дикого своего нрава. Теперь его грозный рык по меньшей мере заставит нас почувствовать, сколь он страшен, и когда позднее он кротко последует за флейтой ребенка, это произведет тем большее впечатление.

— Такого рода изменения и исправления, — сказал Гете, — я считаю весьма существенными; незавершенное, благодаря продолжающимся размышлениям, становится завершенным. Но однажды сделанное переделывать заново, развивать дальше, как Вальтер Скотт, например, поступил с моей Миньонной, которую он ко всему еще превратил в глухонемую, мне представляется недостойным и непохвальным.

*Четверг вечером, 1 февраля 1827 г.*

Гете рассказал мне, что сегодня утром его посетил прусский кронпринц в сопровождении великого герцога.

— Принцы Карл и Вильгельм Прусские тоже были с ним, — сказал он, — кронпринц и великий герцог просидели около трех часов, мы о многом успели поговорить, и я составил себе самое выгодное представление об уме, вкусе, знаниях и образе мыслей этого принца.

На столе перед Гете лежал том «Учения о цвете».

— Я ведь задолжал вам ответ касательно феномена цветной тени, — сказал Гете. — Но поскольку он многое предопределяет и находится во взаимосвязи со многими другими явлениями, то я и сегодня не хотел бы дать вам объяснение, оторванное от целого. Мне подумалось, что хорошо было бы вечера, когда мы встречаемся, посвятить совместному чтению «Учения о цвете». Мы будем иметь таким образом неисчерпаемую тему для бесед, вы же, едва заметив, как это произошло, усвоите все учение. Однажды усвоенное, обновляясь в вашем сознании, неизбежно станет продуктивным, и я уже это предвижу, в скором вре-